

## Глава 3

### Панин Хутор

*Продолжение. Начало в №№ 1-3*

**Д**аже Лев Толстой был мил сердцу Лескова, кроме всего прочего, еще и тем, что «Толстые, по мнению многих, тоже непременно русского и притом самого простонародного происхождения. Это можно видеть и по усиленно простонародным обличьям многих почтенных лиц, носящих эту фамилию. Таковы, например, покойный граф Алексей Константинович и особенно ныне здравствующий Лев Николаевич. Нерусское обличье из Толстых находили у покойного музыкального критика Феофила Матвеевича (Ростислава), но и это несправедливо: вся его шиловатая фигура и особенно выражение его лица поразительно напоминали “Моркотуна”, крепостного господского музыканта, тип которого и был им недурно описан. (...)

К тому же Толстых очень много, и они не только не все графы, но даже не все и дворяне. Есть Толстые торговцы и ремесленники. Кто, например, не знал в Москве знаменитого в свое время часовщика Толстого? В г. Кромах у церкви св. Никития жил отставной солдат Толстой, и он был наилучший набойщик, производивший на весь уезд знаменитые набойки и крашенины, которые “не боялись ни пару, ни щелоку”. Их так и звали “толстовские набойки”. Я позволил бы себе выразиться точнее так, что Толстые, вероятно, пошли из тех мест Орловской или Тульской губернии, где люди в разговоре окают, а не акают. Где окают, там и ударение переносят на о, и потому говорят: “он такой чисто́й да такой толсто́й”. Где же много ребят или много девок с одинаковыми именами (например, Ваньки, Таньки), — там сами товарищи или подруги избегают кликать друг друга по крестному имени, потому что много Ванек и Танек и “не разобрать, которых надобно”. Вот, “чтобы лучше разобрать”, ребята же сами и дают сверстникам прозвища: “ряба́я”, “кругла́я”, а парень — “тощо́й”, “толсто́й”. Прозванный так по своей внешности парень или девка вырастают, а кличка остается с ними и не только сопутствует на всю жизнь тому, кто ее получил, но и становится родовой фамилией идущего от него “нового отводка”». К сему цитата из «Жития одной бабы»: «У нас все всякому своя кличка приложена, и мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка, Аленка-брюхастая, Анютка-кругла́я, Настька-сухопарая — все так. Иной раз за этими кличками и крещеное имя совсем забудут».

Пока были живы матушка и старшие Алферьевы, Лесков сдерживался, но чуть алферьевский род «побывшился», переселившись на кладбища, он жестоко разломал геральдические игрушки матери. Почему, за что? По всему чувствовалось, что таким образом он как будто за что-то брал реванш, с мстительным наслаждением разоблачая этот ее вполне простительный недостаток, перенося на него ярость, обиду и боль, которые следовало бы направить на другое, на то, о чем он не смел и не хотел говорить прямо. На что именно? Об этом позже, а пока вернемся к брачной истории родителей Николая Семёновича Лескова.

Несмотря на «древность рода», Маша Алферьева вышла-таки за Семёна Лескова. Семинарист и дворянская дочь — мезальянс или история великой любви?

В письме к П. К. Щербальскому от 16 апреля 1871 года Лесков повествует, как его мать, «чистокровная аристократка», влюбилась в его отца — «дремучего семинариста». Имел тут место шекспировский или, на крайний случай, тургеневский сюжет? Томилась ли, «рвалась» ли Мария Петровна, подобно героине романа «Некуда» Анне Николаевне Бахаревой, выплакивая глаза, отстаивала ли колени в молитвах за свою любовь? Или бесприданница Маша просто подчинилась воле обстоятельств, советам родных и здравому смыслу? Кому охота засиживаться в старых девах: ведь полных семнадцать стукнуло! А Семён Лесков к тому времени хорошо себя зарекомендовал в обществе, родители Маши знали его как порядочного человека, занимающего статусную должность губернского следователя. Алферьевы согласились выдать за Лескова дочь.

Но он не стал им родным: «старые дворяне» чуяли в нем «новодворянина», «человека несродного им духа», «нескладного и неудобного в жизни». Родственники жены не приняли, не полюбили Семёна Дмитриевича; так и остался он до конца жизни торчать, как острая спица, в «страхово-алферьевском родственном клубке». Он видел их пренебрежение, постоянно ощущал упорное отторжение своей семинарской «прищепы» от «благородного» родового древа. Однако все терпел.

Ради своей Маши?

«Несомненное одиночество, хотя и была семья. Так и шел Семён Дмитриевич в тени и незначительности в родстве, как, пожалуй, и в собственной семье, не без уколов самолюбия, в горечи сознания, что, отвергая некоторые сделки с своей натурой и взглядами, не идя на компромисс, ничего не благоустроил жене и детям», — итог размышлений Андрея Николаевича Лескова о своем деде по отцовской линии. Наверное, Семён Дмитриевич все-таки любил жену, но... как признавался на закате дней, сам «все испортил... такой был характер...»

Характером он действительно обладал тяжелым — это мы уже выяснили. Так может, Маша влюбилась в красивое лицо и статную выправку? Вряд ли. Портретов и фотографий Семёна

Дмитриевича не сохранилось, а может, и не существовало никогда. Скорее всего, он не любил позировать. По словам двоюродной сестры Андрея Николаевича Лескова, Ольги Луциановны Водар, урожденной Константиновой, матушка ее, Наталья Петровна, в наружности Семёна Дмитриевича и в манере держаться находила больше служило-приказного, чем помещичье-дворянского. «При всей осторожности и мягкости этих отзывов очень уже почтенной старушки я уловил неизменность оценки своего деда во всем алферьевско-страховском родстве: да, умен, деловит, честен, но чудаковат, если не фантазировать, не располагает к себе, трудный человек...» Могла ли юная дворянка влюбиться в подобного чудака? В семинаристах того времени было много такого, над чем насмехался Афросимов и о чем впоследствии Николай Семёнович Лесков написал заметку «Семинарские манеры», пронизанную желанием защитить презируемое светским обществом и эстетскими кругами «сословие», к которому принадлежал по воле судьбы его отец: «Кому в русском обществе не доводилось слышать о так называемых семинарских манерах, то есть о дурных, нескладных и безвкусных манерах, которыми среди людей всех званий постоянно отличались и, за весьма редкими исключениями, до сих пор ревниво отличаются люди, воспитанные в наших духовных училищах? Напоминая об этом, мы отнюдь не имеем желания трунить или издеваться над этими манерами. Напротив, мы делаем это напоминание с истинною грустью и сожалением, что общежитейское обхождение и манеры и теперь наших людей духовного воспитания так не эстетичны, тривиальны и неприятны, что их именем даже характеризуется неумение держать себя в обществе. Семинарские манеры — это такая заправка, от которой человек страдает целую жизнь, и еще как страдает! Благо ему, если он когда-нибудь поймет свою нескладность и найдет в себе еще столько свежести и гибкости, чтобы отстать от неуместных привычек. Чаще всего это бывает не так: семинарские манеры так внедряются и срастаются с человеком, что он, даже при самом страстном желании вырвать их из себя, увы, бывает лишен всякой возможности освободиться от своей неловкости, причиняющей ему в жизни много вреда и значительно ослабляющей его успех в обществе, в котором

он призван действовать. Даровитейший из всех русских светских людей семинарского воспитания, покойный М. Сперанский<sup>6</sup>, для которого на Руси впервые было изобретено имя фис-де-поп<sup>7</sup>, после многих лет своей высокой карьеры, при неопределимых его заслугах государству, не забывал чувствовать на себе тягостное влияние семинарского режима и не мог настолько освободиться от семинарских манер, чтобы они в нем не чувствовались и даже не осязались. В нем до самой его смерти осталось то семинарское нечто, почему его так называли: “notre fils de pop”<sup>8</sup>. Это ему мешало обращаться с самоуверенностью и спокойствием, необходимыми в тех высоких сферах, в которые поставила его судьба и его высокие дарования. Старые киевские предания говорят, что не менее Сперанского великий и известный митрополит Евгений (Болховитинов), стоя у окна своих митрополичьих палат в киевском софийском соборном дворе и глядя на проходящих по тому же двору семинаристов, не раз сожалел о нескладности сих будущих “ловцов человек” и шутя называл их “неповоротнями”».

И все-таки, судя по всему, Марья Петровна Алферьева шла под венец если не по любви, то и не по принуждению. Помимо честности и деловитости, избранник ее обладал и другими достоинствами: много читал, неординарно мыслил, остро шутил —

---

<sup>6</sup>Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — выдающийся государственный деятель, сын сельского священника Владимирской губернии. Начав обучение в суздальской семинарии и завершив его в Петербургской Александро-Невской семинарии (1791), некоторое время успешно преподавал в ней. В 1796 г. перешел на государственную службу, где быстро сделал блестящую карьеру. Был одним из первых светских деятелей духовного происхождения. С 1807 г. — статс-секретарь, а с 1808 г. — ближайший советник Александра I, автор плана либеральных государственных преобразований. При Николае I возглавил Второй отдел императорской канцелярии и занимался составлением свода законов Российской империи. В 1839 г., незадолго до смерти, получил титул графа. Фигура Сперанского так или иначе не раз появляется на страницах произведений Н.С. Лескова.

<sup>7</sup>«fils de pop» — сын попа (фр.)

<sup>8</sup>«notre fils de pop» — наш попович (фр.)

такой вполне мог обаять молодую особу. Ольга Луциановна преувеличила недостатки свояка: в свете Семён Лесков не был таким уж семинарским увальнем, он назубок знал свод правил поведения «Истинный друг духовного юноши», принадлежавший перу архимандрита Викторина, инспектора Санкт-Петербургской духовной академии. В наставление входили, в частности, параграфы: № 280 — «Если случатся в обществе молодые женщины и девицы, то при разговоре с ними никогда не смотри им прямо в глаза, чтобы не выразить какой-нибудь нескромности. Остерегайся, чтобы тебе не быть подобным тому, который помиззает оком и знамение дает ногою, учит же помаванием перстов»; № 231 — «Не скучай о том, что ты не знаком с приемом светского правильного образования. Хорошо ли, если бы голубь стал держать себя как ястребенок или сорока?»; а также параграфы № 283 — «Всегда имей при себе носовой платок, дабы не плевать на пол, особенно когда он содержится в чистоте» и № 289 — «Во время разговоров, если ты стоишь, то опусти свои руки, или пальцы одной руки положи на пуговицы сюртука твоего, когда же сидишь, держи их на коленях». И наконец, параграф № 304: «Выпив одну или две чашки чаю, давай знать, что не желаешь пить более — для этого обыкновенно ставят чашку вверх дном на блюдечке». Мало вам, что ли, заносчивые аристократы?! Приказ архимандрита, сформулированный в предисловии — «чтобы никто не считал для себя исполнение их необязательными, но всякий, последуя им, устроил бы свое истинное счастье» — Семён Лесков принял к исполнению и по букве, и по духу, чем, в конце концов, и устроил свое счастье: «аристократка» Марья Петровна вышла за «фисдепопа».

В Орле Семён Дмитриевич чувствовал себя полноценным главою семьи. При невероятной наблюдательности и проницательности, он сумел прослыть «таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, уважение и все, что вы хотите».

Но — существенное примечание: «кроме денег».

Неглупая Марья Петровна в те поры преспокойно «жила в тенях» мужа. А вот крушение надежд и панинское забвение Семён Дмитриевич достойно снести не сумел. «Неудачи сломили

«крутого человека», и отец писателя, хотя не сделал ни одной уступки и никому ни на что не жаловался, но захандрил и стал очевидно слабеть и опускаться». Искать утешения и укрепы сил в вере он не хотел и не мог — «не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших». Вместо того чтобы взять на себя ответственность за семью в трудный момент, Семён Дмитриевич малодушно сбежал к древним римлянам.

И что было делать Марье Петровне, не имевшей, как говорится, ни задела, ни дохода, а только выводок детишек мал мала меньше?! «Бабье царство», поминаемое Н. С. Лесковым в письме от 17 февраля 1882 года, наступило гораздо ранее смерти отца семейства, о которой в нем идет речь: «А на ту пору прошел “холерный год” и произвел в приходском дворянстве сильное опустошение, “в господском звании весь мужской пол побывшился”. Первый скончался мой покойный батюшка, а за ним переселились в вечность предводитель Иванов и “беспортошный” Илья Иванович. Имения остались без мужчин, и началось “бабье царство”, при котором дошло до того, что мою матушку (благодаря Бога поныне здравствующую) прихожане раз избрали “старостихою”, т. е. распорядительницею и казначеею при поправке нашей добрынской церкви. Выбирать к таким делам женщин совсем не в порядке, но так люди захотели, так и сделали. Не зная хорошо законов, сказали просто: “Либо нехай Лесчиха справляет, либо ничего не дадим. Пусть воробьи не то что в окна летают, а хоть на головы попам сядут”. Такие полномочия и доверие в сороковых годах прошлого столетия у нас, несомненно, редко оказывались женщине, разве уж очень толковой и надежной».

Вот так, хочешь не хочешь, пришлось «толковой и надежной» Марье Петровне взвалить на свои плечи еще и эту ношу. Ее и без того резкий норов, по сыновнему определению, «скорый и нетерпеливый», «чуждый сентиментальностей и филантропии», стал еще более крутым. Она ожесточилась. Но тот, кто захочет осудить Марию Петровну, пусть попытается поставить себя на место молодой женщины, которая еще вчера беспечно жила в губернском городе, в небольшом, но уютном собственном доме, за спиной мужа-чиновника, получавшего хорошее

жалованье; да вдруг попала в нелепую хату — крестьянский сруб, оштукатуренный внутри и крытый соломенной стрехой.<sup>9</sup> Прежде надежный муж оказался гнилой опорой. Хозяйство тоже мало и бестолково, мельница хлипкая, гусята что ни месяц дохнут, закупщики обсчитывают, а мужики ленятся. Так и вышло, что в панинские годы и хозяйством, и воспитанием детей, и всею жизнью Лесковых, уже «не возносясь выспрь» древним своим дворянским происхождением, заправляла «всесторонне деловитая и практичная» Мария Петровна, хоть и была намного моложе своего супруга. «Возноситься» было некогда, да и не к чему: «аристократическое происхождение» куска хлеба не принесет, следовало «радеть о насущном», чтобы прокормить и выучить детей. Радеть приходилось, применяя жесткие меры. Махнуть по морде Аннушке, растяпе-кухарке или любой другой нескладехе, рвануть девку за косу для назидания было для Марии Петровны в обыденку; послать мужика на конюшню для «научения» — тоже. «Панинские крестьяне, считая, что их “панок не лют”, о влстительнице своей думали иначе. Того же мнения держались и ее сестры и вообще все во всем родстве», — писал Андрей Николаевич о бабушке.

За восемнадцать лет замужества Марья Петровна рожала не раз, половина детей умерла. Мать объясняла это недостатком умелых няnek — одного малыша дворовая девка обварила кипятком до смерти, кое-кто из окружающих считал, что их гибель — следствие родительской нерадивости. Дожили до совершеннолетия шестеро — четыре сына и две дочери. К родным чадам Марья Петровна относилась так же, как к крепостным людям, — «колотье» было ее любимым методом воспитания. В «Юдоли» жена Митрия Семёныча бьет любимую дочку Машеньку, ставит ее в угол и загораживает тяжелым креслом, пообещав позже высечь розгами. И высекла — вечером,

---

<sup>9</sup> Совсем иначе, чем в честных воспоминаниях, Лесков описал панинский домик в рассказе «Пугало»: «Тем же летом мы переехали <...> в очень уютный, но маленький деревенский дом».



лежащую в детской постельке беззащитную девочку. «У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли... Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию, без счета должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашались целовать розги, а только с годами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати»<sup>10</sup>.

Дети не понимают и не принимают объяснений и оправданий, доступных взрослым — что, мол, трудный быт портит нрав человека, что среди взрослых такое поведение матери считалось нормальным и даже поощрялось и т. п. Они воспринимают несправедливость и жестокость, если так можно выразиться, в чистом виде. Потому-то у старшего сына отношения с матерью были сложными и «не теплыми». «Это давало поражающие неожиданностью отзвуки в его раннем писательстве», — говорил об отце Андрей Николаевич. «Что-то по отношению к родительнице у него “в печенях засело”». Сам Лесков всегда утверждал, что первыми людьми, к которым он испытал сильное чувство любви и привязанности и осознал теплое присутствие их в своей жизни, были, в первую очередь, няня Анна Степановна Каландина и родная «паче иже по плоти», беззаветно любимая им и любившая его «бабушка Сашенька» — Александра Васильевна Алферьева.

И только потом — мать.

---

<sup>10</sup>Н. С. Лесков. «Юдоль».

То, что у него «в печенях засело», терзало Николая, мучило; в попытках изжить эту боль, избавиться от нее, он был безжалостен к Марье Петровне и в отношении ее «аристократических цацок», и в воспоминаниях, и в списанных с нее литературных персонажах: «Не злая была женщина Настина барыня, даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту, и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: “За битого двух небитых дают”, “не бить — добра не видать”, — и колотит кулачьями; а в дворянских хоробах говорят: “учи, пока впопрек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться — не выучишь”, — и порют розгами. Ну и там бьют, и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая». Вывод такой: «Беда у нас родиться смирным да сиротливым, — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому Бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сваю, а пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадального: прибереи, мол, только, Господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем». «Это из нутра и сердца за свои обиды вылилось!» — восклицает Андрей Николаевич. И верно — это была и своеобразная месть за порки, душевные травмы, за лицемерие таких сцен, которые ребенок даже видеть не должен, а тем более — в них участвовать, и — крик детского сердца длиною во всю жизнь...

Когда старшего сына на десятом году жизни отправили в Орёл, в гимназию, истерия Марьи Петровны стала изливаться на «неудавшуюся», по ее мнению, некрасивую дочь Наталью, которую даже отец не пытался защищать. А ласками мать щедро одаривала обаятельного, талантливого, красивого младшего сына Васеньку да младшую дочь Машеньку, которую окружающие в один голос называли красавицей, прочая ей в женихи князей. Девочка умерла в раннем отрочестве,

и Марья Петровна не могла простить другим детям: как это, «неудалые да нелюбимые» живы, а Машенька умерла! Старший сын чувствовал несправедливое материнское негодование, а, возможно, она даже не раз высказывала его вслух. В произведениях, написанных через много лет после смерти Марьи Петровны, Лесков пытался как бы сотворить себе образ «доброй матери» из самоотверженной добросердечной «тети Полли», в которой многие признают сестру его отца Пелагею Дмитриевну, и кротости вымышленной англичанки Гильдегарды, пытаясь забыть жестокосердие и «нервный характер» матери. Всю жизнь Николай Семёнович через творчество изживал детские душевные травмы, потаенные обиды, унижения и страдания — их он носил в сердце немало. Марья Петровна щедро наделяла обидами и оскорблениями, которых они не могли забыть долгие годы, всех своих детей. Даже любимый сын Василий, которого Андрей Николаевич называет «человеком искреннейшей души», уже будучи взрослым, сделал в дневнике такую запись: «Апрель 1 (1871 г. Петербург). Сегодня день именин моей матери, шлю ей заочно мое душевное поздравление и искреннее желание добра и покоя в жизни. Старуха много помоталась и победствовала на своем веку и имеет права на покойную старость. Разумеется, другая на ее месте и была бы довольна своим положением, но у нее дурной характер, и в этом ее несчастье. Дай ей Боже смириться душой, и она отдохнет!»<sup>11</sup>

Но какова бы ни была мать, дети старались если не любить, то хотя бы почитать ее, многое прощая, многому находя оправдания. «Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцать пятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдаваясь заботам о муже, детях, конечно, как умела, — “с ухабцами и сухой колотью”. Избытка и радостей в глухой деревушке, на небольшом земельном клину, но с большой семьей, не могло быть. Была нужда, подчас крутая. А она выдержала: детей, кроме одной постылой дочери, подняла, и угол сберегла,

---

<sup>11</sup> Архив А. Н. Лескова

не расточила», — счел нужным признать даже внук, относившийся к бабушке без особого тепла.

В кабинете темнело: за окном «рано осмерк самый сердитый зимний день и немилосердно была сухая пурга. (...) Такая, что свету Божьего не видно».<sup>12</sup> К старости Николай Семёнович разлюбил зиму. От холода и сырости начинали ныть суставы пальцев, ломило запястья, щиколотки; в груди скапливалось что-то вязкое, гадкое — не выкашлять, не исторгнуть. Он отвернулся к спинке дивана, накрыл голову вышитой подушкой. В памяти яркими сочными красками расцветчивалось то, что казалось забытым давно и прочно, что он старался забыть, погresti под спудом впечатлений, чувств, событий, разочарований и страданий.

Лесков на мгновенье задохнулся, сердце бухнуло и завалилось за грудицу. Подумалось: «Вот так от дифтерита задыхаются, как братец Петруша...» В полутьме на глаза Николаю Семёновичу навернулись слезы: нахлынула боль давних дней, когда собственная его дочь, «сироточка девочка», как назвал он ее в письме Суворину, в конце сентября 1886 года заболела дифтеритом.

Дальше вспоминать стало невозможно.

Лесков встал с дивана, накапал сердечных капель, выпил, поморщился, помахал перед носом рукой, разгоняя неприятный запах лекарства. Затем снова прилег и снова погрузился в думы — о своих детских годах, о братьях и сестрах, о матери...

И все-таки он любил ее. Мальчиком заглядывался на родное, тогда еще молодое лицо; часами наблюдал, как она, вышивая, нижет на иголку бисер. Сидя у нее на коленях, прижимался щекой к ее платью, дивно пахнущему ландышами и лавандой. Отроком жаждал материнского тепла, страдая от одиночества, оторванности от родного дома в гимназические годы. А будучи уже степенным господином, чью голову «солью с перцем» пробили седины, уже не слишком обижаясь на ее резкие высказывания и выходки, с сердечным щемлением замечал, как она стареет и дряхлеет...

Да, он любил мать. Несмотря ни на что.

---

<sup>12</sup> Описание непогоды взято из романа «Некуда».